

**Київ
с
птичього
взгляда**

М. Розанова

Должно быть, каждый город имеет не только лицо, нрав и характер, но и свой особый состав. Если обратиться всего лишь к четырем первоэлементам природы — земле, воде, воздуху, огню, — из которых, как давно известно, соткан мир, то за Киевом надо признать преобладающее значение воздуха. У Киева легкая, птичья кость, звонкий голос, и сама земля там представляется легче по удельному весу, не в пример тяжелой, утрамбованной московской земле.

Киев — город, который снится. По Киеву — летаешь. Во сне так бывает: не ходим — летаем, опуская промежуточные звенья пути.

На это есть причины не одного лишь субъективного свойства, но — скрытые в расположении и живом облике города. Киев стоит на холмах, откуда открывается необычайное по широте обозрение — на реку и дальше, до края света. Об этом сказано: «Редкая птица долетит до середины Днепра».

И еще там же написано: «Нет ничего в мире, что могло бы прикрыть Днепр». Соседство города с этим безмерным ландшафтом сливается с ощущением, что Киев открыт воздушному океану, омыт им, как остров, со всех сторон. «Опоясанный небом» Киев приводил в изумление Гоголя. Чувство простора усиливается резкой пересеченностью местности. Блуждая по Киеву, сигаешь взглядом, спускаешься, взбираешься, кружишь и то паришь над городом, то видишь его внезапно

Здесь деревья торжественны. У них высокий рост, величественная осанка. Листья не устают удивлять изысканным благородством рисунка. В их лапчатом, крестчатом, стрелообразном строении — залог метаморфоз. Когда по Киеву цветут каштаны, у них в руках зажигаются тысячи светильников. Мнится, природа наспех копирует древнюю фреску. А осенью, на солнце, эта орава сбивает с толку: всюду, куда ни глянь, — купола златоглавой Софии.

Мало что осталось от Киевской Руси, и все же в воображении вам не унять ее образ. Тому помогают реликвии, разбросанные тут и там в виде Владимирской горки и Золотых ворот. Не менее важен общий тон города.

Киев преподносит не просто одну из красивейших городских панорам, одну из вариаций, приготовленную на сей раз по-киевски. В Киеве явлен город, Город как таковой; сама идея города воплощена в нем с отчетливостью, может быть, уникальной. Киев ведет себя так, как если бы в мире не было других городов, а был один город — Киев. Он выше всех, он старше всех, он вернее всех. Он издавна подбивал несговорчивого певца, в продолжение канона и чина, поставить на место Иерусалима и Царьграда иное имя: «А Киев-град всем городам мати».

Эта единственность, непревзойденность источника сохранилась в нем до сих пор. В Киеве чувствуешь — здесь началось. Со стороны Днепра,

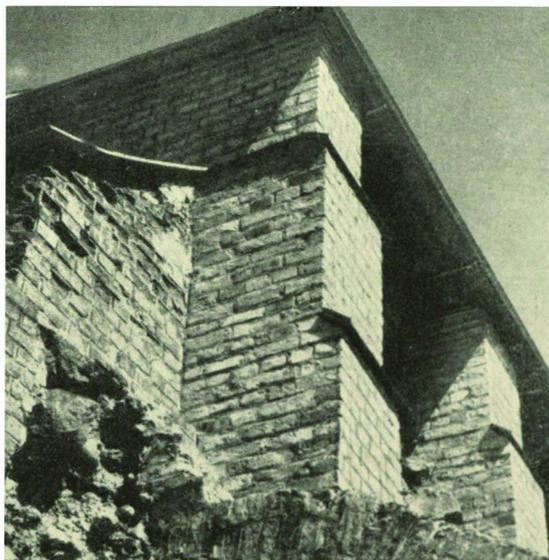
расчет, сколько твердая убежденность, что «место сие свято», что город не скопление жителей, не случайная куча домов, но солнечное сплетение в жизни культур и наций. Какого торжественного смысла исполнено местоположение города, подсказывает Мандельштам:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью брэнной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной.

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

В Киеве мы ощущаем единство горы и города, которое с давних времен позволяло ему принять образцовую внешность города *par excellence*. Город на горе — вдвойне город. Делая город сильнее и представительнее, гора ему служит моделью, показывает пример упорядочения косной материи. В содружестве с горой город успешнее учится быть собой — приобретает навыки инженерии и композиции, научается выступать монолитно и осязать свое тело в пространстве, ориентируясь на дальние точки и горизонты. Архитектура в нем не забыла старинную связь с космографией. Она стремится стать продолжением мироздания.

Многие города строились на горах, но впослед-



но ускользающим в небо, которое таким образом входит в его границы полнее, чем в других городах, закидывая улицы массами свободного воздуха.

Не с киевскими ли просторами связана потребность в полногласии, в откровенной раскованной речи, в широком, смелом жесте? Здесь не хочется хитрить и таиться. Стоя на этих высотах, прежде чем двинуть дружину, Святослав выкликал в пространство:

— Иду на вы!

Ту же роль выполняет растительность. Ее изобилие вносит раздолье и легкую разноголосицу в чинное собрание зданий. А потом ведь деревья, знаете, увеличивают объемность пространства, образуя здесь вместе с горами, ложбинками, обрывами род ниспадающей с неба, дышащей драпировки.

Вблизи нас деревья, кажется, скрадывают небо; в действительности, устремляясь к нему, они затягивают его в силки и сети. Деревья — пути сообщения, дорожное кружево в воздухе. Своими ветвями они оплетают его наподобие кровеносных сосудов и делают воздух больше, виднее. Деревья — реки неба, впадающие в землю. О чем бы вам ни мечталось, они тенями и пятнами процеженного света, прохладой, ароматом и шелестом непрестанно напоминают, что вы находитесь под покровом неба, в живительном окружении воздуха...

с фасада, город начинается сразу, державно властно, как и полагается городу, который приходит на чистое место и говорит: «Есьм». Не было ничего, и вдруг — город. Никакой подготовки, проволочки, растянутости, приводящей в недоумение путника, сияющего разглядеть, где же, в каком из бесчисленных поселков и огорождений начинается город. С Киевом не сообразишь: вот он! С места в карьер!

Понятно, крутой берег и большая река, послужившая межой и стеной, река, по которой однажды он приплыл сюда, которая составила добрую треть вселенской по тем временам кругосветной магистрали, помогли ему занять столь убедительное положение и сделаться «прелестью мира», по слову летописца.

Но, кроме видимых глазу удобств и перспектив, мы в этом выборе места, в решительном утверждении города ощущаем безусловность какого-то высшего порядка, как если бы Киев знал, какая ему выпадет честь. Слово судьба и облик великого города заставили его с первых шагов занять свою единственную в иерархии мира позицию, предоставив нам теряться в догадках перед чудом градостроительства, подкрепляя скудные сведения логикой народных преданий.

Следуя ей, Хлебников, например, устанавливал, что величайшие города удалены друг от друга на правильные, пропорциональные расстояния. В подобных гипотезах важен не столько точный

стивии, с развитием техники, цивилизовались, выровнялись. Киев — из тех, кто помнит о древнем родстве и четко мыслит себя в неровном рельефе местности. Он гордо взмывает высь и только потом, оглядевшись по сторонам, снижается и распространяется вширь.

В его строении первую роль играет взаимодействие уровней, соотношенность вершины с подошвой, Верхнего Города и Подола. Подол сам по себе целый город, но в нашем зрительном восприятии он существует как спуск к Днепру и подножие пирамиды, которую увенчивает Софийский собор.

Кстати, это нижнее, подчиненное положение ничуть не препятствует ему разгуляться в полную волю. Напротив, оно поддерживает веселую непринужденность царящего беспорядка и самые несуразности быта превращает в пиршество живописи. Вот тут-то, у себя под ногами мы видим, как Киев дурит, толкается, куролесит, базарит. Теснота и разношерстность строений, рассованных, на взгляд, как попало, лишь бы было погуще да пошумнее, здесь на скате, у берега, законны и радуют глаз. Безобразие иного свихнувшегося флигелька, норовящего встать вверх тормашками, красит сцену. А как же еще прикажете стоять на таком разухабистом месте?

Дома кажутся скарбом, выброшенным из окна под откос порывом души; все дышит интимно-

(Продолжение на 30 стр.)

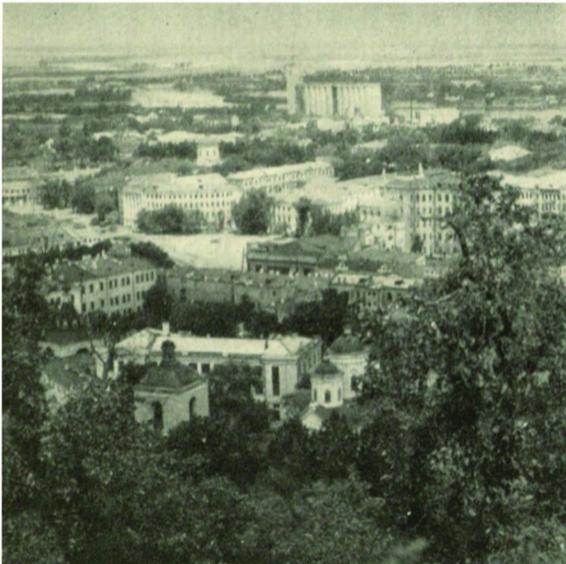
Киев с птичьего взгляда

(Начало на стр. 20.)

стью; на всем печать размашистого, необузданного характера. Нас охватывают нежные детские воспоминания: жил-был на Подоле... Не лучше ли, впрочем, вновь вспомнить Гоголя, у которого и этому зрелищу найдется аналогия:

«...Нельзя было видеть без внутреннего движения, как вся толпа отдирала танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо мир». «Миллион козацких шапок высыпал вдруг на площадь». «И ударили со всех сторон козаки, сбили и смешали их, и сами смешались».

Переложите эту речь на море крыш, на истовую правдивость бульжника, на кривизну и неуступчивость улочек, и вы узнаете Подол. «Отыскался след Тарасов». Грубый дух Запорожской Сечи, демократической казацкой общины еще живет в его застройке, и конный памятник Богдану Хмельницкому, подскакавший к стенам Софии, воспринимается щеголеватым, прифранченным посланцем Подола. Правда, там, наверху, в респектабельном окружении, этот несколько театрализованый образ кое-что потерял по сравнению с выславшей его первобытной силой, что бурлит и грудится в низине, подкатываясь к волнам Днепра. Подол выглядит куда натуральнее и фантастичнее — ближе к подлиннику.



...Когда смотришь на землю сверху, с высоты полета птицы, линия горизонта, поднявшись, образует края чаши, своей вместимостью и завершенностью превосходящей фронтальный обзор. Этим законом восхитительно пользовались некоторые старые мастера — в особенности Питер Брейгель, — с его помощью сообщавшие небольшим по размеру холстам всеобъемлющий охват. К завышению горизонта прибегали иконописцы. Под взглядом сверху композиция раздвигалась до масштабов вселенной. Тем же средством оперирует Киев, наклоняясь то над одним, то над другим из своих питомцев, предоставив каждому право состязаться с целым миром. Его распластанные пейзажи порождают редкое чувство полноты и живописной насыщенности, оставляя в памяти образ универсального бытия. Как будто Киев содержит в себе всю, какая ни есть, поднебесную.

К многоцветной природе города приложила руку история, запечатлев привычки и мысли обитавших здесь поколений в одеянии и мимике улиц. У Киева бог знает сколько на дню обличий, физиономий, смотря по часу, по погоде, по капризу встречной постройки, а то и по смешению стилей, эпох, заплаток, перелицовок на одном и том же фундаменте, что отвечает общему вкусу бывалой, выдавшей виды столицы. Есть Киев женственный, сладострастный, лиричный, томный, оперный город; есть Киев старосветской

провинции; есть Киев, смахивающий на Италию, Капри, Неаполь («Взгляни — и умри!»), только что не хватает Везувия (Черт! Куда же провалился Везувий?); есть Киев железный, чугунный, глиняный; а есть — сливочный, шоколадный, видом и стилем подарочный торт, сочиненный безумным кондитером в объеме натурального здания (в путеводителях это названо «некритичным освоением классического наследия»).

И есть еще Киев на рассвете, вне форм и размеров, суровый, вещей, прорицающий образы прошлых и будущих веков, раскатывающих гулкое эхо на возглас «Слышишь?»:

— Кыв, Киев...

Всего не перечислить. Но эта разнохарактерность ландшафта успокаивается, завидя печать и подпись вечного города. Помимо дорог, топографии, флоры, архитектурных и прочих ансамблей, у Киева единство облика сложилось благодаря устоям нравственного порядка. Между киевских святынь наиболее драгоценными издавна признаны София и Лавра. Расположенные в разных районах столицы, обе они стерегут ее стабильность, целостность, и обе восходят к первому зерну и корню Русской земли, откуда за ними повелось и закрепилось непреходящее значение истины.

В Киеве давно не существует кремля; земляные валы рассыпались; но в алтарном центре Софии



парит в потоке несотворенного сзета большеголова Оранта — древний символ Нерушимой стены. Она вознесена над городом; и память об ее присутствии не затухает, пока мы ходим по его горам и долинам.

А на другом конце, под землей, в пещерах Лавры покоятся праведники, без которых, говорят, никакому городу долго не выстоять, и, может быть, Киев стоит так прямо и так уверенно потому, что у него их было много. И каких...

Назовем одного — Алимпия: его руку надо видеть.

Имя Алимпия — самого раннего, самого первого на Руси живописца, не стороннего, а родного, коренного происхождения, — мало кому теперь известно. Между тем работы Алимпия в свое время настолько ценились и были, по-видимому, столь замечательны, что краски его, гласит предание, обладали целительным свойством. Помажет кисточкой — и болезнь как не было. А в тонком иконописном деле Алимпию помогали ангелы и подменяли художника, когда у того уже не стало сил работать.

Его рука, истонченная, чистая, высохшая, сохраняет отпечаток искусства, которому некогда была сопричастна. Будто грация иконописных созданий, лишенная изобразительной тяжести, — грация в отрешенном виде — явлена нам в руке Алимпия. Теперь она отделена от шедевров, ею написанных, пущенных в дело, забытых, поте-

ранных, подхваченных всей историей русской иконы, вошедшей в мировое собрание по разряду высших сокровищ; тем не менее она отдаленно соотносится с ними со всеми, подобно тому, как дивно, таинственно зимний узор на оконном стекле соединяет с растительным царством, — трудно сказать уже, кто из них автор и где его произведение.

Рука первого живописца...

И есть в Киеве еще источник установленного с давних времен духовного, внутреннего единства, отразившегося в наружности улиц. Язык Украины, бесспорно, в действительности не таков, каким его воспринимает с налету мало и плохо знакомый с ним раньше заезжий русский человек. И все же русские ассоциации, возбуждаемые украинской речью, иной раз наивные, произвольные, примеряющие чужой, непохожий и в то же время похожий язык на родимую колодку, достойны доброго отношения. Незнакомое лучше заметно и поражает наше внимание. Вывески, названия улиц, объявления, афиши по преимуществу выступают не в своем утилитарном значении, а, можно сказать, в живописующем — стилистическом и характеристическом качестве, касающемся города в целом, его образа и колорита. Многие слова узнаются поновому, обостренно, первопечатно. Обыкновенные понятия обнаруживают неожиданный корень, который в первый момент на секунду встает дыбом в нашем сознании и кажется темным, загадочным, но вдруг слово-загадка лопається, раскрывая свой светоносный, ослепительный смысл, и мы испытываем радость узнавания вещи в ее подлинной природе.

«Перукарня», «Книгарня», «Ідальня», «Дитячий садок», «Лікарня», «Іграшки», «Годинниковая майстерня»... Прогулка по Киеву превращается в увлекательную игру. Ходим и угадываем — а это что? а это? Ну конечно же, в «Книгарне» выпекают книги, как булки в «Пекарне», и книга из «Книгарни», должно быть, пахнет свежим хлебом. А «Лікарня» — не то, куда кладут больных, а то, где их лечат, и, вероятно, в «Лікарне» приятнее и полезнее лежать, чем в «Больнице». В «Ідальне», например, даже ешь с каким-то особенным аппетитом и уважительным пониманием того, что ты делаешь. Словом, жизнь становится интереснее, привлекательнее, а город красочнее. У надписей появляются глазки, ручки, ножки; они кивают, корчат рожицы.

«Дитячий садок». Это совсем, совсем не то же самое, что «Детский сад». Это значительно более ласковое, смешное и трогательное. В «садке» разводят детей и с неслыханной нежностью их питают. Их любят там. Не какие-то общие дети, а несравненные дитятки, единственные дитеныши обитают в «садке».

Когда-то в древности был ДЕТИНЕЦ — крепость, ядро, основа города. От него нам достался «ДИТЯЧИЙ САДОК»...

Украинские слова на русский слух и глаз представляются подчас и более древними, архаичными, восходящими непосредственно к каким-то праславянским основам, и — одновременно — более юными, даже младенческими. Они похожи для нас на словотворчество ребенка, который, бывает, коверкая речь по-своему, находит миру более точные, предметные, образные определения. Эти кажущиеся отклонения от привычной нормы (как, возможно, для украинца — наши странности и отклонения) позволяют почувствовать первозданный вкус языка. А соединенные в них детскость и древность говорят о мудрости жизни и ненароком напоминают, что истина всегда нова, удивительна и порой по-детски наивна, а вместе с тем вечна, изначально.

Сходное чувство мы выносим от Киева.